

Александр Восьмой

A photograph of a bonfire burning in a dark field at night. The fire is bright orange and yellow, with some sparks rising. In the background, there are silhouettes of trees and a few houses under a dark, cloudy sky.

Коса 11. «Огни на Успение»

18+

Александр Восьмой
Коса 11. «Огни на Успение»

«Автор»

2026

Восьмой А.

Коса 11. «Огни на Успение» / А. Восьмой — «Автор», 2026

В ночь на Успение в глухом уезде зажигают огни — не свечи, не костры, а свет, что выходит из земли. Старые люди говорят, что это души предков прощаются с миром. Молодые знают другое: если огонь прикоснётся к живому — человек не умрёт, но перестанет отбрасывать отражение. Без отражения нельзя фотографироваться, нельзя смотреть в зеркала, нельзя подходить к воде. Зеркала покажут тебе то, что стоит за твоей спиной.

Александр Восьмой

Коса 11. «Огни на Успение»

Глава 1. Ночь, когда земля задышала

В глухой уезд Плёсень, где река Утроба петлёй стягивает четыре деревни, приходит Успение — и приходит не одна. Из старых пашен, из-под выгонов, из колодцев, давно высохших, поднимается свет: тёплый, медовый, тихий. Он не дрожит, как пламя, не трепещет на ветру — он просто есть, будто сама земля выдохнула его сквозь поры.

Старики зажигают свечи за упокой и запирают ставни, крестя косяки трижды, будто это ещё может удержать то, что уже вышло из-под земли. В их шепоте слышится не молитва, а привычка: повторять слова, смысл которых стёрся от времени. Дети выходят в поля — по традиции, о происхождении которой никто не помнит. Они бегут между бороздами, смеются, ловят этот странный свет ладонями, не зная, что он липнет к коже, как тонкий слой воска.

К утру у одного из них не будет отражения.

К утру весь уезд поймёт: свет — это не души. Это кто-то очень старый зажигает лампы под землёй, чтобы освещать себе дорогу наверх.

Марька бежала последней. Она всегда бежала последней: боялась темноты, боялась, что её забудут, оставят одну между избами, где тени становятся длиннее и гуще, чем положено. В эту ночь темнота будто отступила, уступила место этому медовому сиянию, и Марька, осмелев, протянула руку и коснулась его. Оно было тёплым, как парное молоко, и тихим, как шёпот за спиной, когда думаешь, что ты один.

— Не трогай! — крикнул кто-то из старших ребят, но голос прозвучал издалека, будто сквозь толщу воды.

А Марька уже не слушала. Она смотрела, как свет стекает с её пальцев, собирается в капли и медленно впитывается обратно в землю, словно земля жадно глотала собственное дыхание.

Когда рассвело, деревня проснулась не от петухов — от тишины. Не той обычной тишины, что бывает перед грозой, а мёртвой, пустой, будто кто-то выключил звук у мира. И только тогда заметили: у Марьки нет отражения.

Она стояла у колодца, смотрела вниз, туда, где в чёрной воде должно было быть её лицо, и видела только рябь, только круги, только отражение неба, которое не имело к ней никакого отношения. А когда она обернулась, старуха Агафья, стоявшая у калитки, вдруг побледнела и отшатнулась так резко, что опрокинула ведро.

— Что ты видишь? — крикнула Марька, чувствуя, как внутри всё сжимается в тугой узел.

Агафья не ответила. Она смотрела не на девочку, а куда-то за её плечо, в пустоту, которая вдруг перестала быть пустотой.

— Господи, прости... — прошептала старуха, пятась к дому, и её голос звучал так, будто она говорит не с Марькой, а с тем, что стоит за её спиной.

И тогда Марька поняла: зеркала покажут тебе то, что стоит за твоей спиной. И если у тебя нет отражения, значит, ты больше не в центре своего мира. Ты — просто проход. Дверь. Окно в то, что поднимается из-под земли в ночь на Успение.

Деревня ещё не знала, что это только начало. Что свет, вышедший из пашен, не собирается возвращаться под землю. Что он ищет новые руки, новые лица, новые двери. И что теперь, когда одна девочка перестала отбрасывать тень, остальные должны были решить: запереть ли ставни и молиться, или выйти в поля и встретить то, что идёт наверх.

Но никто не вышел. Все сидели по домам, прислушиваясь к тишине, которая становилась всё громче, пока не превратилась в гул — будто земля глубоко внизу вздохнула и приготовилась сделать ещё один шаг.

Глава 2. Девочка, которая смеялась в реке

Марфа Видяшкина — последняя из рода, чьё имя выбито на завалине сельского храма. Буквы почти стёрлись дождями и ветрами, будто сама земля хотела стереть память о них, но одна буква — «М» — держалась упрямо, как держится сама Марфа там, где другие давно бы сломались. Она единственная во всей округе, кто боится не огня, а воды. С шести лет ей снится один и тот же сон: в реке лежит она сама и зовёт её по имени — не громко, не отчаянно, а так, будто уже смирилась, что никто не придёт. И от этого голоса становилось страшнее всего.

В ночь Успения деревня затаилась. Огни, что поднимались из земли, теперь не казались тёплыми — они стали жёлтыми, как старые кости, и тянулись вверх тонкими нитями, будто корни, вывернутые наизнанку. Старики шептали, что земля дышит тяжело, с хрипом, и каждый выдох приносит что-то чужое. Запрет на воду в эту ночь знали все: «Не смотри в воду — увидишь не себя». Но Марфа именно этой ночью подошла к реке.

Утро было серым, как остывший пепел. Река Утроба текла медленно, лениво, будто несла на себе не воду, а густую тьму, разбавленную каплей света. Марфа встала у самой кромки, где песок смешался с илом и стал липким, как застывшая смола. Она не хотела смотреть — правда не хотела. Но что-то внутри, упрямое и злое, тянуло её вниз, к поверхности, где мир переворачивался и становился чужим.

Она наклонилась.

И увидела не себя.

Там, в глубине, где вода становилась чёрной, стояли они — все, кто уже лишился отражений. Их были сотни. Они стояли по колено в реке, лицом к берегу, и не шевелились, будто ждали чего-то, что должно было случиться именно в эту секунду, именно с ней. Их глаза были пустыми, как провалы в старых стенах, но в них мелькало что-то — не жизнь, не свет, а ожидание, тяжёлое, как мокрый камень.

А потом одна из них — девочка, почти ровесница Марфы, только с лицом, будто вылепленным из воска, — вдруг подняла руку и указала прямо на неё. И рассмеялась.

Смех прозвучал не в воде, не в воздухе — он раздался внутри самой Марфы, как будто кто-то щёлкнул пальцами у неё в голове. От этого смеха по спине пробежал холод, который не согреться ни огнём, ни бегом, ни криком.

Марфа отшатнулась, упала на мокрый песок, и только тогда заметила: её собственное отражение всё ещё было там. Оно дрожало, как тонкая плёнка на горячей воде, но было. А рядом с ним, едва заметное, будто тень на тени, мелькнуло ещё одно лицо — то самое, из сна. То, что лежало в реке и звало её по имени.

— Не смотри, — прошептала она себе, но было поздно. Вода уже всё показала.

К тому времени, как над деревней поднялся крик — резкий, как удар кнута, — Марфа уже бежала прочь от реки, не разбирая дороги, не чувствуя, как ветки хлещут по лицу, как камни впиваются в подошвы. Она бежала не от тех, кто стоял в воде, а от того, что теперь знало: она видела. Она знала. И значит, она стала частью этого.

Когда она ворвалась в дом, бабушка сидела у окна, глядя на улицу, где свет из земли тянулся вверх, сплетаясь в странные узоры, похожие на вены. Бабушка не обернулась. Она просто сказала, не повышая голоса, будто речь шла о дожде или хлебе:

— Ты посмотрела.

Марфа хотела закричать, что нет, что она не хотела, что это случайно, что она просто наклонилась, чтобы набрать воды для кошки. Но слова застряли в горле, потому что бабушка наконец повернулась, и в её глазах Марфа увидела то же самое, что было в реке: пустоту, в которой кто-то ждал.

— Теперь они знают твоё имя, — тихо сказала бабушка, и в этом «знают» было больше ужаса, чем в любом крике.

За окном свет становился ярче. Он уже не был медовым — он стал янтарным, густым, почти осязаемым. И в нём, среди дрожащих нитей, мелькали силуэты — не человеческие, не звериные, а такие, от которых хотелось закрыть глаза и не открывать их до самого рассвета. Но рассвет, как знала теперь Марфа, ничего не исправит. Потому что если ты увидел тех, кто стоит в воде, они уже не отпустят.

Деревня ещё не знала, что Марфа нарушила запрет. Но река знала. И огни, поднимавшиеся из земли, тоже знали. Теперь они искали не просто отражения — они искали тех, кто осмелился посмотреть и остаться собой. И Марфа была одной из них. Пока ещё была.

Глава 3. Дом, где зеркала смотрят первыми

Телега Тимофея Молота въехала в Плесьню на рассвете, когда туман ещё цеплялся за крыши, будто не хотел отпускать деревню в новый день. На телеге громоздились ящики, перетянутые грубой верёвкой, а сверху лежал свёрток — плотный, тёмный, будто укутанный в ночную тень. И запах от него шёл странный: не древесной стружки и не пота, а старого стекла, которое слишком долго лежало в темноте.

Тимофей Молот был зеркальщиком — так он сам себя называл, хотя в соседних уездах о нём шептались иначе. Говорили, что он не просто меняет стёкла, а вытягивает из домов что-то лишнее, то, что хозяева и сами не замечали, пока оно не начинало шевелиться по ночам. Цена у него была вдвое против обычной, но он щедро добавлял: «Старое стекло выдираю, новое вешаю бесплатно». И люди кивали, потому что новое — значит чистое, значит безопасное.

Только в Плесе не старые зеркала не выдирали. Их закапывали в дальнем лесу, за болотом, где земля была рыхлой и жадной. Заколачивали досками, чтобы даже лунный свет не коснулся поверхности. Топили в трясинах — и смотрели, как они медленно уходят вниз, будто сами тянулись ко дну, не желая больше ничего отражать. Потому что стекло, хоть раз увидевшее безотражённого, становилось дверью. А двери в Плесе предпочитали держать закрытыми.

Но Тимофей Молот не спрашивал. Он стучал в каждую избу, улыбался так, что морщины на его лице складывались в узоры, похожие на трещины на старом зеркале, и говорил одно и то же:

— Дайте старое — заберу. Новое повешу — даром. Пусть в доме будет свет, а не тьма по углам.

И люди, уставшие от темноты, соглашались.

К полудню в каждом доме уже висело новое зеркало. Стекло было чистым, прозрачным, без мутных пятен и радужных разводов. Оно отражало ровно то, что должно было: печь, лавку, занавески, детские босые ноги на половицах. И казалось, что в этом и есть спасение — в ясности, в том, что всё на своих местах.

А к ночи зеркала начали меняться.

Сначала это было едва заметно — лёгкое дрожание поверхности, будто от невидимого сквозняка. Потом — тонкий налёт, похожий на иней, который появлялся не от холода, а изнутри стекла. А потом они стали смотреть.

Не на тех, кто стоял перед ними. Не на спящих, не на тех, кто ворочался в полусне, натягивая одеяло до подбородка. Они смотрели сквозь.

В доме кузнеца Степана первым проснулся младший сын. Он сел на лавке, потёр глаза и вдруг замер. В зеркале, что висело над сундуком, он увидел не себя. Он увидел спину отца — широкую, в грубой рубахе. Но отец стоял не в комнате. Он стоял в поле, там, где земля дышала, выпуская из себя медовый свет. И рядом с ним, плечом к плечу, стояла фигура, которой не могло быть: высокая, тонкая, с лицом, будто вырезанным из тёмного дерева.

Мальчик хотел закричать, но звук застрял у него в горле, потому что отражение отца медленно повернуло голову — не к сыну, не к себе, а прямо на него, сквозь стекло, сквозь стены, сквозь расстояние, которого не должно было существовать.

В избе старухи Агафьи зеркало над лавкой вдруг стало чёрным, как прорубь зимой. А потом в этой черноте вспыхнули глаза — не человеческие, не звериные, а такие, будто кто-то зажёл огонь глубоко под землёй и поднёс его к стеклу. Старуха проснулась от холода, который не шёл от окна, не от двери, а от самого зеркала. Она увидела, как в темноте стекла что-то шевелится, собирается в очертания, и поняла: оно не ждёт, когда на него посмотрят. Оно смотрит первым.

Тимофей Молот тем временем сидел на краю деревни, у своей телеги, и протирал кусок старого стекла тряпкой, которая казалась чёрной даже при свете луны. Его лицо в этом отражении выглядело иначе — моложе, резче, будто с него стёрли годы. Он улыбался, но улыбка была не доброй. Она была довольной.

— Теперь они видят, — прошептал он, проводя пальцем по кромке стекла. — А скоро и их увидят.

В эту ночь в каждом доме что-то просыпалось. Что-то, что пряталось в углах, в тенях, в трещинах на полу. Оно подходило к зеркалам, прижималось к холодной поверхности и смотрело сквозь неё на спящих хозяев. И в этом взгляде не было любопытства. В нём была цель.

Марфа, которая всё ещё чувствовала на себе тяжесть взгляда из реки, проснулась от странного ощущения — будто кто-то дышит ей в затылок. Она села на лавке и посмотрела на зеркало, висевшее над сундуком. Стекло было мутным, будто затянутым тонкой плёнкой, и в этой мути двигались тени. Они не были похожи на людей. Они были похожи на то, что поднимается из-под земли, когда земля делает глубокий, тяжёлый вдох.

Она хотела отвернуться, закрыть глаза, спрятаться под одеяло, как в детстве. Но зеркало не давало этого сделать. Оно притягивало взгляд, удерживало его, заставляло смотреть глубже, туда, где поверхность переставала быть границей.

И тогда она увидела.

За своей спиной.

То, что стояло в комнате, прижавшись к стене, сливаясь с тенью, но всё же заметное — если знать, куда смотреть. Фигура была высокой, неестественно вытянутой, с длинными пальцами, которые слегка подрагивали, будто нащупывали воздух. И она не смотрела на Марфу. Она смотрела в зеркало. Прямо на своё отражение — которого не было.

Потому что у него не было отражения.

Марфа поняла: зеркала больше не показывали мир. Они показывали то, что пришло из-под земли. То, что искало свои двери. И теперь, когда в каждом доме висело новое стекло, дверей стало больше.

Деревня спала, не зная, что за её спинами кто-то стоит. Что зеркала уже не принадлежат домам. Что они стали окнами — и с той стороны кто-то очень внимательно изучает, кто остался внутри.

А где-то на окраине Тимофей Молот сложил старые зеркала в кучу и теперь поджигал сухую траву вокруг них. Пламя поднималось вверх, лизало края стёкол, и в этом огне мелькало что-то — не искры, не отблески, а лица, сотни лиц, которые кричали беззвучно, растворяясь в дыме.

Он смотрел на это и улыбался.

— Пусть горят, — шептал он. — Пусть всё старое сгорит. Тогда новое встанет на своё место.

И деревня даже не подозревала, что «новое» уже пришло. Оно просто ждало, когда все проснутся — чтобы встретить их взглядом, который будет первым.

Глава 4. Закон, который старики пели, а не рассказывали

В Плесене устав не читали — его пели. Не как молитву, не как заклинание, а как колыбельную, которую передают от бабки к внучке, пока голос не станет хриплым от времени, а

слова — тяжёлыми, будто отлитыми из свинца. В нём не было обещаний и угроз — только запреты, выстроенные так плотно, что между ними не проскользнул бы даже шёпот.

Не подходить к воде без благословения.

Не фотографироваться — а раньше, когда не знали про плёнку и вспышку, — не рисоваться, не давать своему облику застывать на бумаге или холсте.

Не называть по имени того, у кого нет отражения: имя — это якорь, а у безотражённого не должно быть якорей.

И главное — не отвечать, если в темноте позовут твоим голосом. Потому что тот, кто зовёт, знает твоё имя лучше тебя самого.

Бабка Васса была последней, кто помнил устав целиком. Говорили, что она выучила его ещё до того, как научилась говорить, — мать напевала ей эти строки вместо сказок, и они въелись в память, как ржавчина въедается в железо. Голос у Вассы теперь был ломким, как сухая ветка, но в нём ещё оставалась сила — не громкость, а тяжесть, с которой слова падали в тишину и оставались там.

Марфа пришла к ней на закате, когда небо стало цвета остывшей золы, а воздух — густым и неподвижным, будто деревня затаила дыхание. Она села у ног старухи, подтянув колени к груди, и попросила:

— Расскажи устав.

Васса покачала головой, не глядя на девочку. Её пальцы перебирали край шали, словно нащупывали в ткани старые, забытые слова.

— Не рассказывают его, — прошептала она. — Его поют.

И запела.

Мелодия была странной — не плавной, не красивой, а угловатой, будто каждый звук цеплялся за предыдущий, не давая песне разогнаться. В ней не было радости, не было утешения — только предупреждение, растянутое на долгие такты. Марфа слушала, чувствуя, как по спине ползёт холод, не от ветра, а от самих слов, от того, как они ложились на тишину, вытесняя её.

«Не гляди в воду, когда луна не полная,

Не зови того, кто не отбрасывает тени, по имени,

Не стой у зеркала после полуночи,

Не отвечай, если голос твой звучит из темноты...»

Голос Вассы становился всё тише, пока не превратился в шёпот, едва различимый даже в полной тишине. А потом мелодия вдруг оборвалась — не на конце фразы, не на логической паузе, а посередине строки, так резко, будто кто-то дёрнул струну и она лопнула.

Васса замолчала. Её пальцы замерли на шали. Глаза, затянутые пеленой старости, смотрели куда-то сквозь Марфу, будто видели не комнату, не девочку, а что-то далёкое, что приближалось с каждым мгновением.

— Дальше нельзя, — прошептала старуха, и в её голосе не было упрямства, только страх — старый, глубокий, въевшийся в кости. — Дальше идёт то, чего устав запрещает знать.

Марфа хотела спросить: «Что там? Что дальше?» — но слова застряли у неё в горле, потому что она вдруг поняла: запрет касался не только Вассы. Он касался всех. И если кто-то узнает эти слова, они перестанут быть просто песней — они станут приглашением.

Но Марфа уже запомнила обрыв. Запомнила, на каком слоге оборвалась мелодия, на какой ноте голос Вассы дрогнул и исчез. Она запомнила тишину, которая наступила после

этого, — не обычную тишину, а ту, что бывает, когда что-то важное остаётся недоговорённым, и мир замирает, ожидая, что кто-нибудь осмелится произнести это вслух.

Ночью Марфа лежала на лавке, завернувшись в старое одеяло, и пыталась мысленно допеть оборванную строку. Она подбирала слова, пробовала разные окончания, но ни одно не звучало правильно. Каждое казалось фальшивым, чужим, будто пыталось втиснуться в мелодию, которой не принадлежало.

А потом ей показалось, что она слышит её снова — ту самую песню, ту самую оборванную строчку — где-то за стеной, в темноте, в пустоте между домами. Голос был не Вассин, не мамин, не чей-то знакомый. Он был похож на её собственный — но чуть ниже, чуть холоднее, будто её голос прошёл сквозь лёд и вернулся другим.

«...не отвечай, если...»

И тут голос позвал её по имени.

— Марфа.

Она сжалась, вцепившись пальцами в одеяло, и закрыла глаза, хотя знала, что это не поможет. Потому что голос звучал не снаружи. Он звучал внутри головы, как будто кто-то шептал прямо в ухо, прижимаясь губами к коже.

— Марфа, посмотри.

Она не ответила. Сжала зубы так, что заболела челюсть, и повторила про себя, как заклинание: «Не отвечай. Не отвечай. Не отвечай».

Но где-то в глубине души ей хотелось. Хотелось обернуться, посмотреть, узнать, кто зовёт её этим голосом, который знает её лучше, чем она сама. И это желание было самым страшным.

На рассвете Марфа снова пришла к Вассе. Старуха сидела у окна, глядя на улицу, где свет, поднимавшийся из земли, стал бледно-жёлтым, почти прозрачным, будто растворялся в воздухе. Но Марфа знала: он не растворялся. Он искал новые двери.

— Я запомнила обрыв, — тихо сказала Марфа. — И я буду искать продолжение.

Васса медленно повернула голову. В её глазах мелькнуло что-то, похожее на отчаяние.

— Не надо, — прошептала она. — То, что нельзя петь, нельзя и искать. Устав не просто так обрывают. Он защищает нас не только от того, что снаружи. Он защищает от того, что внутри нас хочет это услышать.

Но Марфа уже приняла решение. Она знала, что устав — это не просто набор запретов. Это карта, на которой отмечены места, куда нельзя ступать. А она собиралась пройти именно там, где были нарисованы самые страшные знаки.

Потому что если устав обрывается, значит, за обрывом есть что-то. Что-то, что может дать ответы. Или забрать последние вопросы.

Деревня ещё жила в неведении, думая, что главное зло приходит извне — из земли, из воды, из зеркал. Но Марфа начинала понимать: самое страшное прячется в том, что люди сами не решаются произнести. В том, что остаётся недопетым. И пока она искала продолжение оборванной песни, что-то в темноте тоже искало её — и напевало ту же мелодию, только без пауз, без обрывов, до самого конца. До того самого конца, который устав запрещал знать.

Глава 5. Тот, кто отбрасывает слишком много

У мельника Елисея было одно отражение — но жило оно отдельно от него. Оно приходило в деревню раньше самого Елисея: махало знакомым, останавливалось у колодца, жаловалось на усталость, тёпло плечо, будто от тяжести мешка с зерном, которого на нём не было. А самого Елисея в деревне почти не видели — и это было удобно. Люди кивали отражению, улыбались ему, спрашивали про помол, про воду в реке, про погоду, и отражение отвечало ровно тем голосом, каким говорил мельник — ни выше, ни ниже, ни мягче, ни жёстче. Только в глазах у него было что-то лишнее: будто в них скопилось слишком много дней, слишком много рассветов и закатов, которые оно прожило само по себе.

Марфа замечала это давно, но молчала. В Плесене не принято было говорить о странно-стях вслух — их прятали за оговорками, за смешками, за словами «так уж вышло», будто если не назвать вещь по имени, она перестанет быть настоящей. Но теперь, когда зеркала начали смотреть первыми, когда вода показывала не тех, кто в ней стоял, а тех, кто стоял за спиной, молчать стало труднее.

В ту ночь отражение пришло к Марфе.

Оно постучало не в дверь — в окно. Тихий, настойчивый стук, будто кто-то щёлкал ногтем по стеклу. Марфа проснулась от этого звука, от того, как он не вписывался в привычный ночной шум: не скрип половиц, не вой ветра, не крик ночной птицы. Это был стук, который знал, куда бить, чтобы разбудить именно её.

Она встала, подошла к окну, отодвинула занавеску — и увидела его. Отражение Елисея стояло на крыльце, прижав ладонь к стеклу, будто хотело пройти сквозь него. Лицо было таким же, как у мельника, — только чуть прозрачнее, будто его вылепили из тумана и оставили на ветру. И в этом лице было столько усталости, что Марфе на мгновение показалось: если она откроет окно, эта усталость перетечёт к ней, оседет на плечах, и она уже никогда не сможет выпрямиться.

— Спрячь меня, — сказала отражение голосом мельника. Слова прозвучали негромко, но так чётко, будто кто-то высек их на льду. — Он отнимает нас по одному и складывает в землю. Я знаю, зачем.

Марфа отшатнулась, вцепилась пальцами в подоконник, чувствуя, как дерево врезается в кожу.

— Кто? — прошептала она, хотя уже знала, что не должна спрашивать. В Плесене знали: чем меньше имён ты произносишь в темноте, тем дольше остаёшься собой.

— Тот, кто живёт под землёй, — ответило отражение, и его голос на мгновение дрогнул, как будто ему было больно произносить эти слова. — Он собирает отражения. Каждое — как камешек в стену. Когда стена станет высокой, он поднимется. А мы... мы станем его ступенями.

За спиной отражения земля дышала. Из трещин в почве поднимался тот самый медовый свет, но теперь он не был тёплым. Он был липким, тягучим, как смола, и в нём мелькали очертания — не людей, не зверей, а чего-то, что ещё не обрело форму, но уже тянулось к поверхности.

— Почему ты говоришь мне? — спросила Марфа, чувствуя, как внутри всё сжимается от страха и любопытства — той самой смеси, которая заставляет людей делать самые глупые и самые смелые вещи.

— Потому что ты видела реку, — тихо сказала отражение. — Потому что ты знаешь, что бывает, когда смотришь туда, где тебя не должно быть. Ты понимаешь, что отражения — это не просто картинки. Это двери. А он хочет закрыть их все — но не снаружи, а изнутри.

Где-то на краю деревни скрипнула дверь. Кто-то вышел на крыльцо, взгляделся в темноту, будто почувствовал, что в воздухе повисло что-то новое, тяжёлое, как запах грозы перед бурей. Отражение мельника резко повернуло голову в ту сторону, и на его лице промелькнуло что-то, чего не бывает у настоящих людей: мгновенная пустота, будто кто-то выключил свет внутри.

— Он идёт, — прошептало отражение, и голос его стал тише, будто слова терялись в воздухе. — Он чувствует, когда мы говорим. Прячь меня. Не дай ему забрать меня обратно.

Марфа не знала, что делать. Она не могла впустить это в дом — потому что знала: отражение не приносит с собой только голос и лицо. Оно приносит с собой то, что тянется за ним, как тень, которую нельзя стряхнуть. Но и оставить его на крыльце она не могла — потому что видела, как свет из земли тянется к нему, как тонкие нити обвивают его плечи, его руки, его шею, будто пробуя на ощупь, насколько крепко он держится за этот мир.

Она распахнула окно.

Не потому, что хотела помочь. А потому, что поняла: выбора больше нет. Что бы она ни сделала — она уже в этом.

Отражение скользнуло внутрь, оставив на подоконнике тонкий слой инея, будто холод шёл не от ночи, а от него самого. Оно прижалось к стене, стараясь стать незаметным, слиться с тенью, но тень не принимала его — она отступала, как вода от горячего камня.

А потом земля под Плеснем впервые ответила на вопрос, которого никто не задавал.

Это был не голос. Не слова. Это был звук — низкий, тяжёлый, будто где-то глубоко внизу кто-то провёл пальцем по каменной стене, проверяя, насколько она готова рухнуть. Он прокатился по деревне, как волна, заставляя стёкла звенеть, а половицы — вибрировать под ногами. И в этом звуке было одно: ожидание.

Марфа подошла к зеркалу, которое Тимофей Молот повесил в её доме, и увидела, как поверхность пошла рябью, будто по ней пробежал ветер, которого не было в комнате. В этой ряби мелькнуло что-то — не её лицо, не отражение мельника, а тёмный силуэт, высокий и тонкий, с длинными пальцами, которые тянулись к стеклу изнутри.

И тогда отражение мельника заговорило снова — быстро, сбивчиво, будто слова торопились выскочить, пока их не перехватили:

— Он спрашивает, — шептало оно. — Он всегда спрашивает, даже если никто не произносит слов. Он спрашивает: «Кто остался?» И земля отвечает. Сегодня она ответила впервые.

За окном свет стал ярче. Он уже не поднимался тонкими нитями — он лился сплошным потоком, заливая улицы, проникая в щели, в замочные скважины, в трещины в стенах. И в этом свете Марфа увидела, как по деревне идут другие отражения — те, что раньше махали знакомым и жаловались на усталость. Они шли не как люди, а как тени, которые вдруг научились ходить: их шаги были бесшумными, их движения — чуть запаздывающими, будто они шли по другому времени.

Они шли к центру деревни. К старой мельнице. Туда, где стоял настоящий Елисей — или то, что от него осталось.

Марфа поняла: мельник не прятал своё отражение. Он отдавал его. Каждый день он позволял ему уходить, чтобы оно собирало усталость, страхи, мелкие горести — всё, что могло бы сломать самого Елисея. Но теперь этот обмен перестал быть добровольным. Теперь кто-то другой решал, кому оставаться, а кому становиться ступенью.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.